

«ДН» — 2017



ДРУЖБА НАРОДОВ

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Доктор X и его дети. *Роман*
Ирина БОГАТЫРЁВА. Ганин. *Роман*
Алексей ИВАНОВ. Опыт № 1918. *Роман*
Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. *Роман*
Керен КЛИМОВСКИ. Дорога. Скорость. Высоцкий. *Повесть*
Александр МЕЛИХОВ. Воскрешение Лаэрта. *Повесть*
Марина МОСКВИНА. КРИО. *Роман. Книга вторая*
Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Зять владыки. *Документальная повесть об Алексее Аджубее*
Сергей РЯЗАНЦЕВ. Кочевники проспекта Возрождения. *Повесть*
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть
Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ. Небесная Call of Duty. *Повесть*
Ася УМАРОВА. Приходи свободной. *Повесть*
Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. *Роман. С армянского*
Владимир ШПАКОВ. Формула Атлантиды. *Роман*

Архив:

Лев АННИНСКИЙ — Игорь ДЕДКОВ. Из переписки 1973–1987 гг.
Александр ГЛАДКОВ. Из дневников и переписки с Надеждой МАНДЕЛЬШТАМ
Ольга КЛЮКИНА. Муравей на мониторе.
 Как мы жили с Инной Львовной ЛИСНЯНСКОЙ летом на даче

Новые сочинения: Василия АВЧЕНКО, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Алисы ГАНИЕВОЙ, Валерия БЫЛИНСКОГО, Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Андрея ВОЛОСА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Фариды НАГИМА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Ульи НОВЫ, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Мариам ПЕТРОСЯН, Романа СЕНЧИНА, Александра СНЕГИРЁВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Вадима МУРАТХАНОВА, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Александра ОРЛОВА, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Ильи ФАЛИКОВА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА, Санджара ЯНЫШЕВА и других авторов

Следите за рубриками:

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»
 «ПЕРВЫЕ СТИХИ» *Сергея НАДЕЕВА*
 «БИБЛИОНАВТИКА» *Ольги БАЛЛА*
 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР» *Евгения АБДУЛЛАЕВА*

ДРУЖБА НАРОДОВ 4/2017



4'2017

- **Олег Ермаков**
Приключение странное
Повесть
- «Спешу на голоса
и всматриваюсь в лица...»
Поэты многонациональной России
- **Александр Блинов**
Мандариновая птица
Итальянские дневники и сказки
- **Олег Хлебников**
Три отца и много дядек
Фрагменты документальной повести
- **Вера Зубарева**
«Удвоенность молитв прими...»
Две родины в поэзии Беллы Ахмадулиной

Александр Джумаев

Хворост для костра

О разрушительной силе невежества во взаимоотношениях цивилизаций и конфессий. Центральная Азия и Россия

Люди разным пророкам молитвы творят,
Люди зло совершают и благо дарят.
Все деяния их так похожи на хворост
Для костра, на котором они же сгорят.

Абдурахман Джами, XV в.

«На каждом человеке лежит отблеск истории.
Одних он опаляет жарким и грозным светом, на
других едва заметен, чуть теплится, но он существует
на всех. История полыхает, как громадный костер,
и каждый из нас бросает в него свой хворост».

Юрий Трифонов. Отблеск костра. Документальная повесть

Знакомлюсь с путевыми записками и дневниками путешественников, служилых людей, военных и чиновников, пересекавших во второй половине XIX и начале XX века просторы Евразии из одного конца в другой, из столицы Российской империи в Туркестан и обратно, в надежде найти там новые факты о том, что происходило при столкновении двух «культурных миров», как складывались и распространялись стереотипы, частично сохраняющиеся и поныне. И главное — нет ли в настоящем дальних причин из прошлого, не коренятся ли в прошлом истоки нетерпимости и агрессивности, «философии насилия», которые так вздыбились в разных частях современного мира.

Существуют разные современные научные методы изучения этого явления, и ими пользуются политологи, социологи, востоковеды и культурологи. Каждый метод, даже самый совершенный, соответствует, в первую очередь, породившей его цивилизации и востребован ею же. Нам близки, понятны, а временами и вполне достаточны мысли и наблюдения великих мыслителей Востока. Во многих случаях они стали выражением народной восточной мудрости, напитавшей каждую из культур ныне существующих центральноазиатских и средневосточных народов — таджиков и узбеков, уйгуров, казахов, кыргызов, каракалпаков, туркмен, иранцев, бухарских евреев и других.

Джумаев Александр Бабаниязович родился и живет в Ташкенте. Культуролог и музыковед-востоковед, кандидат искусствоведения. Автор около 200 научных публикаций в разных странах мира по различным аспектам культуры Центральной Азии. Постоянный автор «ДН».

В Средней Азии огромной популярностью еще и в недалеком прошлом пользовался великий персидский поэт-философ XIII века Саади Ширази. Ссылки на его мысли часто встречаются — и в письменных текстах, и в эпиграфических надписях на разных архитектурных памятниках и артефактах. Саади — символ гуманизма исламской цивилизации. Его занимала проблема мирового зла, накапливаемого человечеством постепенно, от века к веку: «Оснований зла в мире было немного, но каждый, кто приходил, добавлял к нему что-нибудь своё, пока оно не достигло нынешних пределов». Эти слова мне уже доводилось приводить в одной из статей. Ответом на них можно считать другую приписываемую Саади сентенцию, в которой невежеству противопоставляется знание: «Человек, который не знает, и не знает о том, что не знает, — в своем двойном невежестве пребудет до скончания времен. А тот, кто не знает, но знает, что не знает, — тот кое-как к концу жизни приведет свои дела в порядок» (буквально: «кое-как дотащит своего полудохлого осла до стоянки»). Звучит актуально, хотя и сказано более семи веков назад. Эта мысль вновь и вновь напоминает о проблеме невежества и его претензии быть одной из «движущих сил» исторического процесса.

Вернемся к путевым запискам и дневникам. Чего тут только нет, какие подчас встречаются глубокие и меткие наблюдения, яркие зарисовки типов и картинок быта, нравов, обычаев, традиций разных народов — кочевых степняков и горожан. Здесь же и «автопортреты» самих составителей записок и дневников, нелицеприятные портреты современников, яркие зарисовки их нравов и образа жизни в условиях нового (исламского) культурного пространства. Ценнейший материал для историков, этнографов, географов, культурологов и многих других! Сколько черпали они из них, и сколько еще осталось невычерпанного, и сколько новых неизвестных и неоткрытых материалов таят в себе архивы и всякого рода рукописные и книжные собрания!

Немало встретишь в этих материалах и наивного, смешного. Наивность взглядов умиляла, в каком-то смысле снимала напряженность во взаимоотношениях, по-своему сближала культуры «больших» и «малых» народов. Но порой понимаешь, что она же, эта наивность, вместе с простотой и упрощением несет в себе зачаточный материал — «хворост для костра» — будущих, может быть, далеких конфликтов и противостояний, преступной халатности и безответственности правителей и высокомерия сильных мира сего. Такое осознается, конечно, постфактум, с позиций сегодняшнего дня, с учетом знания всей последующей случившейся истории.

Однако больше всего поражает сопутствующая наивности общая, почти повальная на начальном этапе (по словам русского дореволюционного публициста Д. Н. Логофета) «исторически сложившегося поступательного движения России в Среднюю Азию» неосведомленность о фундаментальном явлении далекого края — об исламе, основной религии и комплексе культурных явлений, с ним связанных. Можно говорить даже об апофеозе незнания и игнорирования, то есть фактически о вопиющем невежестве. Конечно, было много и другого, что оставалось неведомым и непонятым, но оно не могло идти ни в какое сравнение с незнанием самого главного, что составляло фундамент всех остальных «надстроек» — ислама и исламской цивилизации. Имевшиеся уже тогда исключения почти целиком относились к академическому научному знанию в нарождавшемся «среднеазиатском» направлении российского востоковедения.

Конечно, невежество было обоюдоострым. И со стороны мусульман Туркестана оно было не менее, а вероятно, даже более ошеломляющим. Однако это уже другой аспект, который не может быть поставлен «на одни весы» с невежеством ведущей исторической силы — представителей, как тогда считалось, самой прогрессивной и передовой европейской цивилизации и культуры. Но интересно другое: в обоих случаях — и у прибывающих в Туркестан на жительство христиан — православных и

католиков, и у мусульман — общество оказалось разноликим и «поделенным пополам». И там и тут мы встретим в избытке и примеры невежества и нетерпимости, и примеры толерантности и, главное, стремление к поиску путей для установления взаимопонимания и объединения.

Но откуда было бы знать об исламе и исламской цивилизации и культуре обычным людям, широкой читающей публике XIX века в России? Русское академическое востоковедение первоначально развивалось во многом параллельно реальной жизни, не соприкасаясь с ней, в своем замкнутом научном «цехе». Давайте посмотрим, что рекомендовалось широкому российскому читателю из научно-популярной литературы по Туркестану, культуре и религии населяющих его народов, и в особенности по исламу. Для этого обратимся к изданному в 1900 году по распоряжению Министерства народного просвещения «Каталогу книг и периодических изданий для бесплатных народных читален» (Издание 3-е, дополненное /по февраль 1900 г./). С.-Петербург: Типография М. И. Акинфиева и И. В. Леонтьева, 1900. — 243 стр.). Здесь, разумеется, есть литература и о Центральной Азии и Туркестане, о городах и народах, населяющих этот край, о путешествиях и путешественниках (Н. М. Пржевальском, Н. А. Северцове, А. П. Федченко), приводятся историко-географические сведения, описания природных условий и т.п. Но более всего материалов — об истории покорения Туркестана войсками царской России, о различных военных походах, боевых «делах» и их героях, например, о хивинском походе М. Д. Скобелева и т. п. «Военная литература» явно доминирует (около пятнадцати наименований) в общем небольшом объеме книг по среднеазиатской тематике. Но об исламе и исламской культуре опять же фактически ничего нет. Лишь одно-единственное исключение — упоминается известная книга американского писателя Вашингтона Ирвинга «Жизнь Магомета» в переводах на русский язык (перевод П. Киреевского, М., 1857 г. и перевод Л. Никифорова, М., 1898 г.). Примечательно, что эта же книга, переизданная репринтным способом огромными тиражами в начале 1990-х, сразу после распада СССР, в некоторых бывших советских восточных республиках, утоляла «первоначальный голод» бывших советских граждан по исламоведческой литературе. В одно время с ней таким же способом был издан долгожданный Коран в переводе И. Ю. Крачковского, но в целях экономии бумаги — без необходимых для его понимания комментариев ученого, что сводило возможности его изучения к нулю. Чему удивляться, если и мы сами, поколение второй половины XX века, многие годы спустя, вплоть до недавнего времени, имели об исламе и исламской цивилизации весьма неполные и поверхностные знания. В то же время в изданном «Каталоге» достаточно много литературы духовного содержания по христианству, преимущественно православному, а также протестантизму, католицизму и некоторым древним религиям, она очень разнообразна — есть и общеобразовательная, и каноническая — и выделена в специальный раздел: «Книги духовного содержания» (С. 1 — 26).

Такое положение со знанием об исламе сложилось по прошествии более чем тридцати лет после завоевания Средней Азии Российской империей. Разумеется, подробное освещение этого вопроса не входит в мою задачу, и я не владею исчерпывающей информацией по нему, а значит, могу что-то упустить. Известно, что положение стало постепенно меняться в результате трагических андижанских событий 1898 года — восстания под руководством суфийского шейха Дукчи Ишана. Только после этого напуганные размахом и «необъяснимостью» случившегося власти предержащие обеспокоились полным незнанием ситуации в области ислама и суфизма и инициировали подготовку специальных исследований (так называемые «Сборники материалов по мусульманству»). Но и в этих исследованиях ислам рассматривался по большей части с заведомо негативных позиций.

Конечно же, значительным количеством востоковедческой и краеведческой литературы по Средней Азии отличалась Публичная библиотека в столице Туркестанского генерал-губернаторства Ташкенте, в чем можно убедиться, обратившись к «Каталогу книг русского отделения Туркестанской публичной библиотеки» (издан в СПб в типографии Академии наук в 1893 г.), составленному замечательным ташкентским библиографом, первым директором этой библиотеки Н.В.Дмитровским (1841—1910). Но и здесь, теперь уже в специально выделенном разделе «Религии восточных народов», значится всего пять изданий, непосредственно относящихся к исламу. Из них три — это переводы Корана, причем один, безусловно, уникальный, изданный в Петербурге в 1790 году, имеет (для своей первой части) весьма характерное для того времени название, отражающее общие расхожие представления о религии ислама — «Житие лжепророка Магомета вкратце» (о чем будет сказано далее). Затем весьма древняя (1848 г.) книга А.Муравьева «Письма о магометанстве» и работа о хадже (1877 г.) студента Казанской духовной академии, а впоследствии известного православного миссионерского автора Михаила Миропиева. Вот, собственно, и все.

Но все же, в чем состояла причина такого большого отставания в изучении одной из самых фундаментальных проблем, отставания, последствия которого, без преувеличения, сказывались на протяжении последующих десятков лет и которые мы в какой-то степени наблюдаем и поныне? Возможно, главная причина заключалась в восприятии ислама и исламской цивилизации. Оно проходило почти исключительно через призму православного христианства, христианских ценностей и господствующих ценностей европейской цивилизации. Весьма распространенным, расхожим обывательским мнением в ту пору было понимание ислама как ошибочной или ложной религии, как «искаженной ветви» христианства. Сложилось и существовало априори неприятие ислама и исламской цивилизации, оно выражалась в таких устойчивых характеристиках, как: «чуждый прогрессу», «враждебный цивилизованному миру», «архаичный», «отсталый», «консервативный», «косный» и т. п. Возник, по-видимому, своеобразный психологический «эффект отторжения», выразившийся в устойчивом нежелании изучать уже имеющиеся и доступные материалы об этом «предмете». Схожее явление современные психологи называют отсутствием мотивации. Но ее отсутствие может распространяться и на положительные или нейтральные явления. В нашем же случае речь может идти о явлении, изначально признанном негативным. Это психологическое состояние (неприятие нежелательного) будет проявлять себя и позже в сходных культурных ситуациях; существует оно и сейчас.

Такие взгляды в огромном диапазоне мнений — от грубых, невежественных и оскорбительных до высокопарных и внешне философско-гуманистических и снисходительных — тиражировались в высказываниях высокопоставленных лиц и чиновников разного ранга, в прессе и литературе. Ими сопровождалась и многие прогрессивные начинания: внедрение различных европейских технических новшеств, открытие газет, школ и т.п. Вот, например, одно из благих дел — основание в Ташкенте в 1870 году газеты «Туркестанские ведомости». Объявляя об этом событии, редактор газеты штабс-капитан Н. А. Маев говорит о «водворении гражданского порядка, общей народной безопасности, цивилизации и общечеловеческих идей в стране, столь долго косневшей под гнетом мусульманства и азиатского деспотизма» (ЦГА Республики Узбекистан, Ф. И -1, оп. 20, д.1748, л.11 и 11об)¹.

¹ Известный ташкентский писатель А.И.Добросмыслов в своей тщательно документированной книге о Ташкенте называет главного редактора «Ташкентских ведомостей» Н.А.Маева «в числе любителей бачей» вместе с другими «видными деятелями» Ташкента. И «по этому поводу в окружном штабе и в мужской гимназии имеются особые дела за 1881 и 1882 годы» (см.: Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. Ташкент, 1912, с. 368).

Идея о превосходстве европейской культуры, мироустройства и гражданского общества и отсталости и невежестве мусульманских народов выступала главным методологическим принципом в конструировании общего исторического процесса, являлась смыслом мирового исторического прогресса и развития человечества. Она морально и этически оправдывала колониальную политику целого ряда стран в тот период истории, но и поддерживала формы культуртрегерства и культурного подвижничества, а также многих их проводников в пределах Средней Азии. Тот же штабс-капитан Маев, неволью прогнозируя далекое будущее, говорит, что «русские явились в Туркестанском крае не только завоевателями, каких уже много видела Средняя Азия, но и проводниками новых начал, которые уже легли в основу гражданского и государственного быта Европейских народов и рано или поздно получат всемирное господство». Это заявление, сделанное по поводу события местного (регионального) значения, в ту пору разделялось многими деятелями царской администрации и российскими интеллигентами-гуманитариями, было едва ли не общепринятым штампом.

Иное философское осмысление исторического процесса, исключавшее и отвергавшее идеи превосходства одной системы над другой, выражали в те годы в России две, казалось бы, противоположные интеллектуальные силы: ученые-марксисты и востоковеды академического направления. Известный русский марксист Г.В.Плеханов в своей работе «О материалистическом понимании истории», говоря о невежестве просветителей, претендовавших на роль «глашатаев абсолютной истины», заметил: «Мы знаем теперь, что абсолютной истины нет, что все относительно, все зависит от обстоятельств места и времени, но именно поэтому мы должны очень осторожно судить о «невежестве» различных исторических эпох. Их невежество, поскольку оно проявляется в свойственных им общественных движениях, стремлениях и идеалах, тоже относительно».

Однако все обстояло не так просто и не может быть сведено к упрощенной схеме. Напомним о хорошо известном: формы культуртрегерства, подпитываемые идеями европейского культурного превосходства, дали в Туркестане и свои положительные плоды. Здесь тот случай, когда нужно судить не столько по словам, сколько по конкретным делам и их дальним последствиям. Можно вспомнить имена выдающихся русских ученых-подвижников — Н.П.Остроумова, В.П.Наливкина, Н.Г.Маллицкого, Н.С.Лыкошина, М.С.Андреева, А.А.Семенова и многих других. Тех, кто совмещали административную деятельность с колоссальной научной и просветительской работой, оставив после себя множество трудов, которые теперь большей частью воспринимаются как первоисточники знаний о Средней Азии. Многие из них искренне любили этот край, сочувствовали здешним народам и критически относились к возникающим тут новым формам эксплуатации и невежеству заезжих «коммерсантов» и разного рода титулованных проходимцев. Сколько сделали они для преодоления негативных стереотипов и отчуждения, для налаживания взаимопонимания и сотрудничества между народами!

Иное дело, когда эти же европоцентристские идеи вели к полному отрицанию какого-либо положительного отношения к исламу и исламской цивилизации и становились «методологической основой» для призывов к дальнейшему разрушению уже имеющегося. Полным невежеством можно считать отсутствие знаний о культуре народов Средней Азии и их религии у властей предрержащих, от представителей которых в анналах истории остались поразительные высказывания и действия на новых территориях Российской империи. Д.Н.Логофет (1865—1922), сильный критик существующего в Туркестане строя и состояния ханств, сторонник реформирования всей системы управления краем, рассказывает о невежестве генерал-губернатора

С.М.Духовского (в должности с 1898 по 1901 год), прибывшего в Туркестан из Приамурья, о его полном незнании края и приводит анекдот по поводу внесенной им путаницы между аксакалами и саксаулами. Выражение это (по-видимому, независимо от высказываний Духовского) вошло потом на долгие десятилетия в среднеазиатскую анекдотическую лексику, став чуть ли не самой расхожей поговоркой.

Патриарх среднеазиатской археологии М.Е.Массон вспоминает о примерах равнодушного и даже пагубного отношения к памятникам исламской истории и культуры: «Злым роком гибели шедевров среднеазиатского зодчества была в значительной степени господствовавшая в дореволюционном обществе атмосфера равнодушия в отношении исторических памятников Ислама, а в последние предвоенные годы и враждебного настроения к ним некоторых представителей высшей администрации Туркестанского края». В подтверждение он рассказывает об осмотре туркестанским генерал-губернатором Самсоновым в 1913 году памятников Самарканда. Демонстрировавший их на Регистане археолог В. Л. Вяткин обратил внимание губернатора на необходимость отпуска средств для их ремонта и поддержки. «Главный начальник края ответил на это решительным отказом, мотивируя, что в интересах русской государственности не поддержание, а разрушение их. Мнение генерал-губернатора тотчас было подхвачено частью свиты, а угодливый адъютант в порядке остроумного предложения высказал свои соображения о применении для этой цели артиллерийского огня».

Здесь необходимо остановиться и сделать принципиально важную оговорку: имена такого рода «деятелей», оставивших по себе недобрую память, как и многие их невежественные деяния, сохранились в истории благодаря их осуждению со стороны части просвещенного общества, русской интеллигенции. Именно эти люди заняли непримиримую позицию в отношении сторонников таких невежественных взглядов. Они приводили их имена, резко критиковали и высмеивали их предшественников и современников, нередко вели с ними самую настоящую общественную борьбу. Но это не значит, что все они — противники невежества — были и противниками колониального устройства Туркестана в составе Российской империи. Большинство из них радели за улучшение такого устройства, за перевод его в форму справедливого и открытого управления. Напомним, что размышления о справедливом правителе и устройстве государства составляли едва ли не центральную тему многих философских текстов мусульманских мыслителей. Великий персидско-таджикский поэт и мыслитель Абдурахман Джами (XV век), касаясь этой проблемы в своем сочинении «Бахористан», заметил, что «лучше справедливый правитель без веры, чем благочестивый верующий шах-злодей». Таким образом, и само российское образованное общество на протяжении всего этого времени являло собой сложную и противоречивую картину. В нем существовали разные идейные группы, наблюдались значительные расхождения по принципиальным соображениям, оно не было однородным и единым.

Отсюда понятно и другое: какие большие возможности это открывало для манипулирования историей, для выхватывания и преувеличения значения фактов одного порядка за счет приуменьшения значения других фактов или умалчивания о них. Что мы и видели в избытке на протяжении последних десятилетий, в особенности в период перестройки и после распада СССР. В это же время в публицистической литературе и в национальных историографиях утвердилась и другая мысль, связанная с «позывами» развенчать советский период истории и носителей идей советской власти. Заговорили обобщенно (естественно, в основном представители русской и русскоязычной интеллигенции) о высоко нравственных, прекрасно вышколенных и порядочных русских администраторах-чиновниках, о добродушных предпринимателях-коммерсантах царского времени, а также их друзьях из местных народов, не сравнимых

с варварами, невеждами и злобными большевиками и чиновниками советского времени.

Особенно много любителей противопоставить «то и это» появилось в последние годы, годы независимости. Оно и понятно: хотя, с одной стороны, это как будто бы шло вразрез с общей «антиколониальной» (антисоветской и антироссийской) риторикой властей предрежащих и их идеологических аппаратов, но с другой — это был один из надежных способов в сложившихся новых условиях достигнуть компромисса, и даже объединения, с националистически настроенными местными интеллектуальными и властными элитами вновь образованных государств. Нынешние времена с царскими (хотя и колониальными) роднило общее классовое чутье: и та, далекая, и нынешняя ситуации близки и родственны — они капиталистические. А советская «проклятая» система не давала в открытую наживаться за счет разорения простого народа и не позволяла осуществиться «национальной мечте» (по аналогии с американской мечтой) — открыть свой, афористически выражаясь, «маленький дуكانчик», маленькое дельце (ну, конечно, у кого-то будет и дуканище). Сказанное, разумеется, не означает, что мы против развития малого предпринимательства при так называемой рыночной экономике.

Но приведу все же и пару противоположных примеров, связанных с действиями власть имущих в Туркестане. Очень многое для развития науки, образования и просвещения в Туркестанском крае сделал первый генерал-губернатор Туркестана и командующий войсками Туркестанского военного округа Константин Петрович фон Кауфман (1818 — 1882). Едва ли не самой первой его «акцией» сразу же после покорения Самарканда стало, по свидетельству востоковеда В. В. Радлова, сопровождавшего царскую армию в ее походе в Среднюю Азию, распоряжение о выделении значительной суммы на ремонт усыпальницы амира Темура и темуридов (Гур-Эмир). Кауфман, как известно, относился с большим пониманием к культурным традициям мусульман и настаивал на невмешательстве в их внутреннюю жизнь. Но не следует и идеализировать его воззрения. Объявив сразу же после завоевания Туркестана «религию туземцев» неприкосновенной (что на долгие десятилетия, по признанию православных деятелей миссионерской направленности, запомнилось в среде мусульман), он в то же время, как и другие его сановные современники, считал естественным «превосходство христианской цивилизации над магометанством» (о чем и сообщал в одном из своих «всеподданнейших докладов»). Такой взгляд, однако, во многом был вызван беспокойством за состояние христианской веры у проживающей в Туркестане православной паствы, которая вошла в соприкосновение с мусульманской массой.

Кауфман был сторонником поощрения освоения мусульманами технических и культурных достижений русских. Здесь можно привести множество конкретных фактов о его деятельности в этом направлении. Но ограничимся одной необычной и забавной историей, которую приводит уже упоминавшийся выше А. И. Добросмыслов со слов первого директора Туркестанской публичной библиотеки Н. В. Дмитровского. Она прекрасно иллюстрирует житейскую мудрость Кауфмана и его отношение к «инициативам» местного населения. Как-то садовник при генерал-губернаторской даче пожаловался Кауфману, «что сарты крадут на даче клубнику». Кауфман спросил его, много ли ягод покрала. Нет, ответил садовник, ягоды не крадут, а вырывают кусты с землей. Ну, и слава богу, что крадут не ягоды, а кусты, — был ответ Кауфмана. Конечно, в этом нет прямой заслуги Кауфмана, но кто из ныне живущих в наших краях не знает о замечательной ташкентской клубнике (кулубнай), ягоды которой в избытке заполняют базары уже ранней весной. Это лишь один маленький частный пример освоения сельскохозяйственных культур, позаимствованных из России народами Туркестана.

Отстаивал и защищал самоценность исламской цивилизации и культуры, религии ислама в обобщающем историко-философском плане выдающийся русский востоковед В. В. Бартольд. Его заслуги в этой важной области колоссальны и неоченимы. И весьма печально было наблюдать, как совсем еще недавно некоторые наши горе-историки, лишённые исторического сознания, но зато наделённые непомерными амбициями, подвергали нападкам его труды и взгляды с позиций сиюминутной конъюнктуры. (А некоторые из них, вскормленные в «историографических кормушках» дальнего зарубежья, умудрялись даже ниспровергать «невежественного Маркса».) Да прочитали ли они труды Бартольда, огромные девять томов, на что требуется не один год жизни? Если по-хорошему, то Бартольд заслуживает того, чтобы ему устанавливали памятники и его именем называли научные учреждения и улицы в новых государствах Центральной Азии. Он заслуживает такого же уважительного отношения, какое сложилось в Казахстане к Л. Н. Гумилеву, именем которого теперь назван один из университетов в Астане.

Бартольд вместе со своими коллегами — востоковедами и историками, представителями петербургской школы русского востоковедения, выступил с рядом блестящих, тщательно документированных и обобщающих работ по истории исламской цивилизации и исламу, по истории и культуре Средней Азии, Туркестана. Его труды «Культура мусульманства», «Ислам», «Мусульманский мир» и многие другие были истинным интеллектуальным прорывом в обстановке тенденциозного политизированного единообразия, они во многом изменили представление об исламской цивилизации в целом. Бартольд еще до революции пользовался значительным авторитетом в высших кругах властных структур и, естественно, в просвещенном обществе того времени. И не только в русском, но и среди мусульманской интеллигенции. Его имя было хорошо известно многим туркестанским просветителям-джахидам, молодым национальным историкам. Не случайно его труды сразу же после выхода в свет переводились не только на европейские, но и на местные языки народов Средней Азии (в арабской графике). Бартольда и в целом петербургскую школу русского востоковедения критиковали, в особенности в советский период, за то, что она стояла «вне активного участия в общественно-политической жизни страны и была даже враждебна революционному движению». Однако одновременно признавалось, что «ей было чуждо расистско-высокомерное отношение к народам Востока и нигилистически пренебрежительная оценка их исторического прошлого и культурного наследия» (Лунин Б. В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения).

Однако если общественная борьба различных мнений в целом проходила на поверхности, на виду у всего общества, то противоборство или противостояние внутри самих конфессий — ислама и христианства — было сокрыто и не всегда известно даже специалистам-исследователям. До сих пор нет полной и ясной картины межконфессиональных отношений в период после присоединения Средней Азии к России.

В целом в научной литературе утвердилась точка зрения, что православие не вело активной миссионерской деятельности в самой Средней Азии. Она была преимущественно сосредоточена в российских центрах миссионерства (в первую очередь в Казани). Литература по этому вопросу время от времени появлялась также в Петербурге и Москве. Среди подобных изданий отметим работу А. Гиляревского и А. Кульчицкого с характерным названием «Религиозно-нравственное состояние инородцев Туркестанского края и необходимость учреждения для них православной миссии» (М., 1893). Различные факты свидетельствуют об усилении этой тенденции в преддверии Первой мировой войны. Одна из ярких публикаций миссионерского плана принадлежала, например, протоиерею Ефрему Елисееву (см.: Прот. Ефрем Елисеев. Учреждение противомусульманской миссии в Туркестанской епархии. М.: «Русская

Печатня» С.К.Попова, 1913. — 32 стр.). В ней раскрывается «история вопроса» и философско-этическая подоплека необходимости такого рода начинаний. Как и «труды» некоторых светских деятелей империи, далеких от обладания знаниями в области ислама и исламской цивилизации и испытывавших к ним неприязнь, она основана на идеях превосходства христианства над исламом, якобы изначального и неизбывного фанатизма ислама, содержащегося в предписаниях Корана, и тому подобных стереотипах.

Интересно, что в эти же годы усиливается и «встречная волна» в среде мусульманских духовных ученых — уламо и суфийских авторитетов. Появляются многочисленные рассуждения внутри мусульманской религиозной литературы (в изданиях литографическим способом и в рукописях) о грядущем «конце времени» (охир замон) и его многочисленных приметах. Заимствования элементов русско-европейской культуры вместе с оживлением форм собственной народной культуры представители официального ислама расценивали как испорченность нравов и образа жизни мусульман, прямую угрозу «вере и нации» (дин ва миллат). Нередко это прямо связывалось с «внешним влиянием», идущим из иноконфессиональной среды, с влиянием русско-европейского образа жизни и культуры.

Не случайно в это время (на рубеже XIX — XX веков) появляются многочисленные тексты, порицающие испорченность нравов, склонность к запрещенным (неисламским) развлечениям у народа и знати, подражание в образе жизни и поведении христианам — пришедшим в регион русским. Они переписывались от руки на отдельных листках и ходили, по-видимому, в большом количестве среди населения Туркестана. Один из таких текстов в стихотворной форме (в виде поэмы) на персидском языке был составлен Шейхом Мавлави Ни‘мат Аллахом Хиндустани. Он посвящен падению нравов мусульман и мусульманства под влиянием европейцев. В моем архиве имеются две разные копии этого стихотворения на отдельных листах, одна из которых датирована 1331 годом хиджры (1912–13 г. н. э.). Оба списка приобретены мною в Самарканде, и их внешний вид (например, наличие складок) подтверждает их долгое «хождение по рукам». Судя по упоминанию в тексте «падишаха ислама султана Хамида» как справедливого правителя, сочинение могло быть создано в период правления турецкого султана Абдул Хамида II (он был у власти до апреля 1909 г.). Уже в первой строке своего сочинения Хиндустани говорит о «наступлении в этом мире последнего времени» (охир замон), а далее призывает читателя-мусульманина увидеть его приметы — испорченность и разрушение многих моральных и этических норм ислама:

*Посмотри-ка на христианского правителя на троне!
Захватили мусульман при помощи обмана.*

Однако автор, не ограничиваясь ссылкой на христиан-европейцев, переходит к жесткой критике ключевых фигур и институтов самого ислама: судей (кази), шейхов, состояния школ — мактабов и мадраса и т. д. О шейхах говорится, что они, подобно дивам, демонстрируют подлог, проводя время тайно в тиши своих комнат с красотками. Автор завершает свое сочинение призывом к самому себе хранить молчание и не разглашать тайн Истины (асрор-и хакк). Такие настроения «эсхатологического» характера были достаточно широко распространены в сочинениях и других современников той эпохи. По большей части они связывались с негативным разрушительным влиянием европейцев, русских и в целом представителей христианской религии.

Однако есть основания считать, что и внутри самих конфессий, подобно описанной выше ситуации в светской мысли, существовало различие подходов и их

противостояние. Причем другая точка зрения высказывалась не только среди христианских авторитетов, но и некоторыми мусульманскими теологами. Имелись, хотя и немногочисленные, свидетельства толерантного отношения к христианам, их культуре и новшествам, поисков с ними компромисса и одновременно критики собственных «невежественных суфиев». Такого рода источники введены в научный оборот в последнее время.

В моем распоряжении оказался один интереснейший документ — небольшая брошюра (всего 17 страниц) на тюрки-узбекском языке под названием «Вахдонийат», что можно перевести как «Единство Бога». Ее рукописный текст издан литографским способом, а это свидетельствует о достаточно большом тираже издания. Однако автор, место и год издания не указаны, что может свидетельствовать о времени, когда открытое обсуждение такого рода проблем было небезопасно. Скорее всего, брошюра появилась в начале XX века, когда обострилась проблема межконфессиональных отношений и возникла общественная потребность в их осмыслении. Автор, основательно опираясь на священные тексты — Коран и Евангелие — и цитируя из них необходимые фрагменты, проводит идею о следовании мусульман и христиан одному единому Богу.

Новый этап в отношениях между конфессиями в бывшей советской Средней Азии наступил в период независимости, когда были предприняты значительные усилия и со стороны руководителей конфессий, и со стороны государственных деятелей по развитию взаимодействия, сотрудничества и гармонизации отношений между ними, по распространению и укреплению в обществе идей религиозной толерантности. Этому во многом способствовала многогранная деятельность митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира. Автор многочисленных духовных посланий и отдельных монографических научных трудов по вопросам взаимоотношений православных христиан и народов Центральной Азии в историческом прошлом и в настоящем, их взаимопомощи и добрососедства, митрополит Владимир поддержал инициативу о проведении в Ташкенте научных и академических по своей сути Востокведческих чтений памяти Н. П. Остроумова. Чтения на протяжении ряда лет собирали вместе ученых разных национальностей и конфессиональной принадлежности и внесли значительный вклад в изучение истории взаимоотношений православия и ислама, их межконфессионального сотрудничества и согласия. Специальное рассмотрение этого вопроса не входит, однако, в задачи моей статьи.

Таким образом, мы видим, что на протяжении длительного времени в различных сферах общественной жизни, в особенности в умственной и интеллектуальной жизни, а также в самих конфессиях невежество соседствовало с просвещением и знанием. Они попеременно сменяли друг друга, а чаще сосуществовали одновременно. Невежество в одинаковой степени беспокоило лучшие умы и христианской, и исламской цивилизаций, и это хорошо видно из истории их взаимоотношений на просторах Российской империи и в Центральной Азии.

Как известно, проблема эта неизмеримо обострилась в наше время. Она приняла крайние формы конфронтационного выражения в целых регионах мира. Очевидно, что, как и в далеком прошлом, как и более ста лет назад, за этим стоит целый клубок сложнейших противоречий, среди которых и вековые накопления «мирового зла». Оно не уходит вместе с прошедшим временем, а вновь и вновь возвращается к нам, чтобы напомнить о допущенных некогда просчетах и ошибках. Оно движет историей, ее негативной и разрушительной стихией до тех пор, пока не встретит объединенного и целенаправленного противодействия — независимо от конфессий, классовых, социальных и цивилизационных различий.

О ПОНИМАНИИ

Три письма на одну тему

Алексей Буров

В эпоху торжества научного познания идея о его принципиальной безграничности овладевает массами вообще и научно-технических работников в особенности. Усомниться в том, что возникновение и эволюция жизни, венчающаяся возникновением и эволюцией мысли, не противоречит физическим законам, в научной среде обычно считается проявлением клерикализма. Вера в разум, в безграничность научных объяснений обычно распространяется не только на жизнь, но и на сам разум: в принципе, мол, разуму подвластно все, даже объяснение своего собственного появления. Суждение о том, насколько выдерживает критику такая вера в отношении жизни, я оставляю за скобками этой заметки, сосредоточившись на ее самом радикальном пункте, на вере в подвластность науке самого мышления. А именно, попытаюсь показать, что наука не только никогда не сможет объяснить мышление хоть в каких-то аспектах, но она вообще о мышлении ничего сказать никогда не сможет, в силу самой сути научного познания. То, что доступно науке в отношении мышления, — это только описание его форм, языков, чье возникновение, как и всякое творчество, останется навек покрытым тайной.

Понятия науки делятся на две большие группы. Первую образуют наблюдаемые величины: расстояния, интервалы времени, массы, напряжения, и т.д. Отвлечемся здесь от углубления в тонкий вопрос, что именно мы измеряем, когда взвешиваем груз или прикладываем вольтметр; примем, что пусть и опосредованно, измеряются именно масса и напряжение — для целей настоящей заметки сего достаточно. Вторая категория понятий науки образована концептами теории, даже косвенно не измеряемыми. Таковы, например, гамильтонианы и лагранжианы классической механики, волновые функции квантовой механики, потенциалы электродинамики, и другие понятия теоретической физики. Попробуем показать, что мышление не может относиться ни к первой группе (наблюдаемых), ни ко второй (теоретических концептов), а стало быть, научно оно совершенно непознаваемо.

Позволю себе общее замечание: сущности наиболее явственно выражают себя не там, где они едва видны, но в своем предельном развитии. Следуя этому принципу,

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик, работающий главным образом в жанре научной фантастики.

Публикации в «Дружбе народов» в соавторстве: эссе «О кратоте» (2016, №1); эссе «О молчании» (2016, № 6).

я отождествляю здесь понятия «мышления», «сознания», «осознания», «рефлексии»; мышление меня интересует не там, где оно лишь зачаточно, как у высших животных и младенцев, напротив, говоря о нем, я имею в виду его зрелое, мощное состояние, пронизанное сознанием своего бытия.

Научное наблюдение — особого рода; его не следует путать с житейским смыслом этого слова. Научное наблюдение есть обязательно стандартная и хотя бы в принципе воспроизводимая процедура. Оно есть следствие выполнения недвусмысленной инструкции, алгоритма. Все, что таким статусом не обладает, за факт науки не признается. Научное наблюдение требует профессионально подготовленных наблюдателей, работающих со стандартно описанными, воспроизводимыми, исправными приборами. Повышение числа независимых наблюдателей, как и множества наблюдений схожих явлений, имеет значение, добавляя надежность данных и выявляя их общие черты, которые только науку и интересуют.

Итак, возвращаясь к мышлению: наблюдаемо ли оно — в научном смысле этого слова?

Предположим, следуя Алану Тьюрингу и Роджеру Пенроузу, что имеется некий робот, изготовители которого утверждают, что он обладает сознанием, что он уже не машина, чьи процессы всецело заданы алгоритмом и случаем, а мыслящее существо. Существует ли какая-то универсальная тестирующая процедура, посредством которой это утверждение можно научно доказать или опровергнуть? Нетрудно увидеть, что нет, такая процедура невозможна. Всякая универсальная, регулярная процедура тестирования, анализа ответов на заданные вопросы (не обязательно вербальные) основана на каком-то принятом алгоритме различения между «ответами машины», «ответами сознательного существа» и «неопределенными ответами». Так вот, для всякого алгоритма тестируемый автомат в принципе можно запрограммировать так, чтобы на данную последовательность вопросов не давать «ответов машины». Подчеркну, что речь идет не о творческих стратегиях угадывания человеком, с кем он имеет дело, а о регулярной научной процедуре выявления мышления. Итак, каков бы ни был алгоритм тестирования, всегда в принципе существуют способы его обойти, не дать программируемой машине быть уличенной в том, что она всего лишь машина. С другой стороны, даже если ответы тестируемого создания попадают в категорию «ответов машины», нельзя исключить варианта умышленного введения нас в заблуждение мыслящим существом, вдруг решившим нас подурочить. Так что, отвечай это существо так или иначе, сказать определенного ничего нельзя, то есть в научном смысле мышление его ненаблюдаемо. По той же самой причине нельзя с научной достоверностью знать, мыслит ли хоть один человек. С этой точки зрения, тестирование человека ничем не отличается от тестирования робота. Мы знаем о своем мышлении и привычно принимаем на веру то, что другие люди тоже мыслят, что и у других людей есть внутренний мир, есть *я*, что они себя сознают. Эта важнейшая интуиция лежит в самом основании нашего бытия; она одновременно и необходима, и научно непроверяема.

Хорошо, пусть мышление ненаблюдаемо; но не может ли оно оказаться полезным научно-теоретическим понятием, вроде гамильтониана или волновой функции?

Декарт заметил, что мышление есть то, что составляет меня более чем что-либо еще: я вполне могу представить себя в иных мирах без тела, с утратой чувственных восприятий, многих воспоминаний, но без способности к мышлению представить себя не могу. Стало быть, мыслящее начало, в отличие от тела, чувств, памяти, не есть то, чем я владею, но то, что я и есть. *Cogito ergo sum*. Мышление — настолько

фундаментальная и первичная субстанция, что ее нельзя определить через что-то еще; напротив, она все определяет. Мышление нельзя запаковать в дефиницию, потому что оно первичнее всех дефиниций, им же и порождаемых, о мышлении мы знаем из непосредственного и непередаваемого опыта. Справедливо сказать, что мышление есть поиск понимания. Если нет проблемы, если все понятно, то нам и думать не о чем. Начальное состояние мышления — это сознание отсутствия требуемого желанного понимания. Результат мышления — прогресс в понимании. Даже если кажется, что продвинуться в понимании не удалось, сам факт пусть неудачной, но достаточно упорной попытки, указывая на трудность задачи, как-то добавляет знание о ней.

Границы возможного понимания не могут быть видимы.

Действительно, увидеть границу, значит, как-то увидеть то, что находится по ее обеим сторонам — и со стороны понятного и со стороны непонятного, притом принципиально непонятного. Но если я увидел то, что якобы не может быть понято, то это значит, что я это уже как-то понял. Таким образом, допущение о возможности увидеть границы понимания, мышления, как таковых, а не связанных с конечностью моей жизни, приводит к противоречию, а значит, эти границы принципиально неведомы. На выходе мышления может быть все что угодно; границ не видно. Мышление рождает новое, и это новое рождается в безграничности возможностей, кажущейся или реальной.

Но если мышление таково, это означает, что оно никак не может быть упаковано в теоретические понятия науки. Дело в том, что по сути своей теоретические понятия атемпоральны, заданы раз и навсегда, они не содержат тайны рождения нового. Да, электрон с какой-то вероятностью может излучить фотон, который может распасться на пару еще каких-то частиц, много чего может далее случиться. Однако же понятием электродинамики электрон является именно потому и в той мере, в какой все эти процессы теоретически схвачены и разложены по полочкам, где уже нет места загадкам и тайнам. Разумеется, с теоретическим понятием могут быть сопряжены открытые вопросы; в той мере, в какой это так, теория не закончена. Но понятием не может быть то, чья сущность состоит именно в рождении чего угодно, чему и границ не может быть видно. Стало быть, мышление принципиально не может быть понятием теории. К этому выводу можно подойти и несколько иначе. Мышление являет себя как творчество во времени; оно темпорально, есть возникновение нового, а не вечное бытие. Понятия же теории, напротив, принципиально атемпоральны, принадлежат миру идей, в котором никакого времени нет и нет места новому. Именно в силу этого принципиального различия мышление не может быть введено в мир научных идей, атемпоральных сущностей.

Итак, мышление никоим образом не может быть введено в науку: оно ненаблюдаемо и несводимо к теоретическому понятию. Сказанное не противоречит тому, что методами науки изучаются разнообразные формы мышления, языковые структуры. Просто формы мышления не следует путать с самим мышлением. Первые есть сложившиеся понятия, элементы имеющихся конструкторов; они принадлежат миру культуры, попперовскому *Миру номер три*, являясь его застывшими трансформами, как предложил их называть Михаил Эпштейн; тогда как второе, попперовский *Мир номер два*, есть таинственный живой источник нового, начиная от вспышки моего понимания чего и кого угодно до рождения новых теорий, языков и парадигм, населяющих *Мир номер три*. *Миром номер один*, напомним, Карл Поппер именовал материальный мир. (О любопытных отношениях попперовских миров и миров Роджера Пенроуза можно почитать в моей заметке «Треугольник Пенроуза и его братья» и в перекликающейся с ней графоцентричной статье Михаила Эпштейна

«Ромб и крест: система четырех миров»; обе выставлены на сайте «Сноб» в позапрошлом и прошлом году соответственно. — А. Б.)

Таким образом, мы пришли к заключению о фундаментальной неполноте научного познания: из него изначально и необходимо исключен его исток, мышление. А раз так, то там, где в поле научного исследования попадает мыслящее существо, следует ждать неразрешимых задач, противоречий и парадоксов — вроде логического парадокса лжеца или квантового парадокса «друга Вигнера». Возможно, в эту же группу попадает и «кот Шредингера». Хотя и нет оснований приписывать котам сознание, но в некотором, пусть и нерелективном, мышлении им отказать нельзя — и не только в смысле ловли мышей.

Сказанное означает, что познание мышления требует иных — отличных от научных — путей. Познанием мышления, как известно, занята философия, стремление к мудрости. А коли так, то наукой философия не является и не может являться. В силу своей главной задачи она не теоретична, не базируется на раз навсегда данном наборе каких-то аксиом и понятий, но рефлективна; после каждого витка мысли она готова возвратиться к уже сказанному, дабы пояснить и развить его.

Геннадий Прашкевич

Начну издаека. С 1951 года.

В нашем классе появился новый ученик.

Заморыш, как многие, он избегал компаний, уходил от расспросов, старался уединиться, неохотно откликался на свое имя. А имя было — Адик, оно, собственно, и определяло ситуацию. В первый же день мы узнали, что в классном журнале новичок записан как Адольф. Лет пятнадцать назад (до войны) это имя вполне воспринималось бы, но шел 1951 год, и мы жили в небольшом городке, где буквально у каждой семьи Большой Адик (Адольф) отнял отца, сына, брата, сестру, ни одна семья не осталась незатронутой прокатившейся по миру войной.

Но теперь мы ходили в школу, читали книжки.

Искрящиеся снежинки, весенняя листва, цветы на полях — теперь мы жили в нормальном мире, мы были его частью. А этот новенький... Адольф! Надо же! С детской жестокостью мы избивали новичка на каждой перемене. К кому ты пришел, Адольф? Зачем ты пришел к нам?

Отучившись, набегавшись, совершив все, что только можно было совершить за долгий, голодный, но всегда счастливый день, я раскрывал первую попавшую под руку книжку. «Хей, бродяга. Отдохни у нас! Отведай лапши и кальян покура. Здесь сидели Валиханов и Верещагин, а вон там курил Миклухо-Маклай и летел с драконами в белые горы Восточного Туркестана — край семи городов, где семь рек слагают озеро, в котором видно дно за много километров, и где замшелые шуки, огромные как затонувшие корабли, топорщат во все стороны кривые редкие зубы и пучат белесые перламутровые глаза». До сих пор помню это длинное предложение, хотя имя Валиханова ни о чем мне не говорило, и Восточный Туркестан казался чем-то бесконечно удаленным, а Верещагин ассоциировался лишь с грудой черепов на общеизвестной картинке.

То есть ничего этого в нашем мире как бы и не было.

Мы прекрасно знали, что главный носитель сакрального имени — Адольф Гитлер — давно уже не существовал, но Адик вызывал беспокойство. Вельветовая

курточка, штаны с бахромой, стоптанные сапоги на вырост, он ничем от нас не отличался, зови его Ванькой, Петькой, Сенькой он сразу стал бы одним из нас. Но Адика звали не Ванькой или Петькой, он был Адик. Что поделаешь. Когда Адика называли Адиком, германские офицеры еще учились в наших военных училищах, а советские офицеры бывали на учениях в Германии. Таков был мир. Теперь взрослые надеялись, что мы — их дети — растем более умными, чем они. Теперь они надеялись, что мы быстро созреем до понимания того, что происходит в жизни. Нельзя же только из-за неудачного имени бесконечно переводить заморыша из школы в школу, нельзя защитить его сразу от всех нас, ведь мы были морем, а он одиноким пловцом. В сущности, Адик был обречен. У него не было будущего. Он даже не мог перекинуться в наши ряды, потому что изначально был награжден никем не признаваемым именем. Взрослые надеялись, что мы поймем... Но что мы поймем? Как? Несмотря на забитость, Адик оказался упертым, а мы были всего лишь травой, мы росли. То, что происходило на переменах, не мешало нам бегать на каток, ходить в кино, посещать разные кружки, сочинять стихи. «Друг — это тот, кто не может в беде оставить другого». Что-то такое заносилось в самодельную (из нарезанной газеты) записную книжку. Друг — это да. Друг — дело святое. А вот Адик у врежем.

Однажды нам задали домашнее сочинение.

Не сильно оригинальное. «Кем я хочу стать, когда вырасту».

Выбор у нас, конечно, был. Можно было пойти в столярку, или выучиться на монтера, или устроиться подкатчиком в вагонное депо — круглое катать, квадратное валять, выращивать горох и капусту, месить глину на кирзаводе, да мало ли. Иногда в школе нам показывали диафильмы об океанах, даже о других планетах, но это было далеко, там ничего нельзя было потрогать, и со звездами тоже ничего не происходило. Вот вечер, каток, музыка, свет фонаря, драки — это да. Много позже я с некоторым разочарованием узнал, что в каждом времени тлели свои непонятные нам кострища. Поэт Пушкин, к примеру, закладывал в ломбарде крестьянские души, полученные им от отца при дележе имения, а прозаик Тургенев из чистых душевных побуждений хотел подарить дочке критика Белинского деревеньку с душами. «С человеческими?» — ужасалась дочка Белинского. «С крепостными», — улыбался Иван Сергеевич. А тут еще Адольф, Адик. Мы слушали и ничего не понимали. Мы просто росли. Мы оставались юкагирами, у которых натуральный ряд чисел невелик и заканчивается понятием *предел знания*. Один, два, три, четыре... одиннадцать, двенадцать... двадцать пять, двадцать шесть... сто, сто один, сто два... и где-то на второй сотне всё — *предел знания*.

А если само мышление ненаучно, то что говорить об искусстве?

Чувство вины за всех и за всё — какими инструментами его измерить?

Можно дать самый подробный анализ того, как сделан «Чевенгур» Андрея Платонова, но кто возьмется его повторить? И вообще, кто меня убедит, что, читая «Короля Лира», я чувствую именно то, что хотел донести до меня Шекспир или хотя бы более поздние критики и толкователи? Никто пока не написал второго «Дон Кихота», никто не написал второго «Евгения Онегина». Как это понять?

В школьные годы нас спасало то, что мы были заодно, один Адик — против.

От всего этого еще сильнее (мне лично) хотелось узнать, кем наш угнетаемый Адик собирался стать, когда вырастет. Летчиком? Ага, держи карман шире. Моряком? С таким именем и в вагонное депо не пустят. Может, Адик будет водить по городу телегу-говновозку? Но и тут как-то не катило. На говновозке работали спившиеся, но все же местные всем понятные мужики — Ваньки, Федьки, Серёги, никак не Адик. А в мире идей... В мире идей предметы и люди замещены символами... В мире идей, в мире искусства ничего нельзя ухватить руками... Гамильтонианы, волновые функции

квантовой механики, потенциалы электродинамики, драмы, комедии, трагические романы... Полная свобода, не правда ли? Но немногие понимают, чем мораль героев Веночки Ерофеева отличается от морали героев Андрея Платонова. В сущности, мы продолжаем страдать от того, что нет в искусстве никакой регулярной, стандартной, действительно воспроизводимой процедуры, четко бы подтвердившей правоту какого-то одного конкретного взгляда.

Отсюда нескончаемость, неповторимость искусства.

Отсюда нескончаемость, неповторимость творчества, заглатывающего, принимающего в себя всё и всех. Да, как и в каменном веке, мы начинаем с иконографии, с простых описаний, с жеста, но ведь мы никогда не останавливаемся на второй сотне действий. Предел знаний нас не пугает. Мы лезем напролом. Даже разбив лбы, мы стараемся перешагнуть предел знаний, написать второго «Дориана Грея» или вторую «Золушку» и, к счастью или к сожалению, почти во всех случаях отступаем, лишь изредка, очень изредка создавая нечто новое.

Вот и мучает нас безмерно: кто смотрит из наших глаз?

У писателя (преодолевшего соблазн описаний) нет инструкций.

Он не понимает, как писать, о чем писать, он только догадывается.

Конечно, он волен придумывать свои собственные законы и инструкции — все равно, погружаясь в творчество, он начинает с попыток понимания. Да, произведений искусства нельзя повторить, никакой Дали и Малевич не могут отменить (заменить) росписей каменного века или искусства шумеров или древних египтян, тут ты всегда в тупике, тут ты всегда в отчаянии. Отсюда разнородность созданного художниками, чудовищные лакуны в эстетике, в философии. Отсюда, наконец, понимание: творчество — это мышление во времени. Именно так.

Но, Господи, как хочется всё понять, догадаться.

Как хочется узнать, наконец, кто смотрит из наших глаз.

Многие годы я размышлял, что же, что же все-таки написал в своем сочинении Адик.

Не узнал бы, наверное, никогда, не помощи случай. Самый что ни на есть обыкновенный случай. В школе, когда однажды я заглянул в нее, встретил я нашего бывшего учителя литературы — человека преклонных лет. Спросить его? Но вряд ли он помнит какое-то давнее сочинение; это же ерунда, мелочь, давно забытая. Что ему до того, кем хотел быть один из его многочисленных (и, видимо, неудачливых) учеников. Да хоть космонавтом, хоть министром финансов. Что это меняет?

Но ведь Адик *был*. Он действительно был. Он прятался от наших детских, но вполне весомых кулачков, он мыслил, что-то пытался понять. Какие инструменты позволят теперь выявить то, о чем он думал?

К счастью, я не удержался и спросил.

И — о чудо! — учитель вспомнил. «Да, да, Адик, помню».

А помнит ли он его сочинение? Мне даже напоминать учителю не пришлось, он помнил. Да, да, обычное домашнее сочинение, и тема была обычная — кем я хочу быть, но учитель запомнил. Почему? «А оно было очень коротким». — «Что же он там написал? Кем хотелось стать нашему Адик?»

И учитель ответил:

«Адольфом».

Алексей Буров

Не знаю, Геннадий Мартович, что у него было дома, у этого мальчика, но школа для него, судя по сказанному, была каждодневным запланированным адом. Полное одиночество. Ничего, кроме немотивированного насилия. Отовсюду, от всех и каждого, со взаимным поощрением. Идти некуда.

Древневерхненемецкое имя *Athalwolf*, укоротившееся в *Adolf*, означает «благородный волк». Магическое, рыцарственное имя. Как тут и Ивана Царевича с верным Серым волком не вспомнить? Неудивительно, что модификации этого поэтического имени были довольно популярны у многих европейских народов; его носило немало королей. Известен ли был мальчику смысл его имени? Думаю, да: он не мог не спрашивать, а родители обычно задумываются о значении имени, прежде чем дать его ребенку. И два смысла, благородной волшебной силы и ужасного истребителя народов, не могли не соединиться в уме вечно преследуемого одинокого маленького существа, сияя надеждой, обещая час избавления и победы, грозной для злого мира; вот что, думается, означало его сочинение. Так что, если мальчик выдержал пытки, не наложил на себя рук, из него вполне мог вырасти жестокий мститель в облики сотрудника официальных органов или бандита. Но может быть, при каких-то невероятно благоприятных обстоятельствах, из него вырос бы и святой — как знать?

Многого не понимают дети; они эгоцентричны и потому могут быть особенно жестоки. Но что тогда означает вот эта заповедь: «*Воистину говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное*»? Не буду касаться бесчисленных толкований сего очень известного места; скажу лишь, как я его понимаю. *Стать как дети* — это может означать лишь восстановление в себе некоего важнейшего духовного качества, присущего именно детям, всем нормальным детям, но позже, как правило, утрачиваемого. Может ли этим качеством быть *кротость*? Такое утверждение мне всегда казалось неудовлетворительным, ибо дети в целом эгоистичны более чем взрослые, о чем свидетельствует такое слово как *инфантильность*; кротость же — антитеза эгоизму. Думаю, есть только одно качество, несомненно, спасительное и преимущественно детское: любознательность. Оно-то как раз и может быть понято именно как кротость: мое стремление узнать неведомое и вместе с тем важное подразумевает нескрываемое признание, что я несведущ в этом очень важном деле, неполон, мал, недостаточен, нищ, если угодно. Признаю себя нищим духом, рад новым крохам его — и в этой кротости нескрываемой нищеты есть блаженство детской радости познания. И напротив, если я подразумеваю, что все существенное, все, что требуется для жизни и доступно познанию, мне уже известно, а поиск великих открытий, новых пониманий кажется чем-то несолидным, уделом детей, юнцов и каких-то нелепых, так и не повзрослевших людей, то это означает, что данная мне от рождения жажда познания утрачена.

Хорошо, спросит кто-нибудь, но почему же Иисус прямо не сказал, что речь идет о любознательности? Не знаю. Может быть потому, что любознательности нельзя от людей требовать, ее нельзя подводить под мораль. К любознательности можно лишь косвенно побуждать — например, некоторой загадочностью речений, притчами, символами. Есть вещи, точно указать на которые может лишь намек.

Здесь мне могут напомнить, что любознательность — это, конечно, хорошо, но все же Иисус учил, прежде всего, не тому. Могут напомнить, что когда Его спросили о самом главном, Он указал, во-первых, на любовь к Богу, а во-вторых, на любовь к

ближнему; что в этих двух заповедях — весь Закон и Пророки. Могут также заметить, что превращение жизни Адика в ад совершалось не только энергией его одноклассников.

Что ж, кажется, с этим нельзя не согласиться.

Но соглашаясь, я хочу спросить: не является ли любознательность одним из проявлений любви к Богу и человеку? Не может ли так оказаться, что представление о разделенности, разноприродности этих проявлений любви лишь свидетельствует о недостатке понимания их связи и даже тождественности на последней глубине?

Вспомним, что сущности наиболее ясно выражают себя там, где они явлены с наибольшей силой. А коли так, любознательность следует в первую очередь изучать не на крысах, и даже не на людях вообще, но на гениях, в которых ее высокое проявление, стремление к истине, выражено наиболее явственно.

Вот что писал человек, ставший символом науки, Альберт Эйнштейн, об источнике вдохновения ее отцов-основателей:

«While it is true that scientific results are entirely independent from religious or moral considerations, those individuals to whom we owe the great creative achievements of science were all of them imbued with the truly religious conviction that this universe of ours is something perfect and susceptible to the rational striving for knowledge. If this conviction had not been a strongly emotional one and if those searching for knowledge had not been inspired by Spinoza's Amor Dei Intellectualis, they would hardly have been capable of that untiring devotion which alone enables man to attain his greatest achievements». (A. Einstein, «Religion and Science: Irreconcilable?» Christian Unitarian Register 127 (June 1948): 19—20; Ideas and Opinions, p. 49—52. Jammer, Max (2011-09-05). Einstein and Religion: Physics and Theology (p. 117—118). Princeton University Press. Kindle Edition).

«В то время как научные результаты абсолютно не зависят от религиозных или моральных соображений, те личности, которым мы обязаны великими творческими достижениями науки, все были пронизаны подлинно религиозным убеждением, что эта наша вселенная есть нечто совершенное и доступное рациональному стремлению к знанию. Если бы это убеждение не обладало сильнейшим эмоциональным зарядом, если бы ищущие знания не были вдохновлены Спинозовской *amor dei intellectualis* (интеллектуальной любовью к Богу), они едва ли оказались бы способны на ту неустанную преданность, которая одна лишь дает человеку силы на величайшие достижения».

Итак, любовь к Богу, любовь особого интеллектуального рода, *amor dei intellectualis*, явилась мотором всех великих открытий физики, тем самым науки вообще. Спорить тут с Эйнштейном нельзя, и не потому даже, что мы имеем дело со свидетельством, данным с самой вершины научного Олимпа, но потому, что эта любовь запечатлена глубокими признаниями тех, о ком и идет речь: Галилея, Кеплера, Лейбница, Ньютона, Гаусса, Пуанкаре, Планка, самого Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, Дирака, Вигнера, Фейнмана. Если самый холодно-рациональный предмет познания — математические законы природы — постигаются силой любви, то что тогда говорить о других, более близких нашим чувствам, предметах?

Чтобы подлинно понять человека, надо прежде всего стать им на какое-то время, совместить свое *Я* с его *Я*, воспринять мир его глазами. Таков необходимый первый шаг понимания. Но такое слияние моего *Я* с *Я* другого требует особого внимания к другому, важности для меня каждой его черты, сколь бы нелепой, дурной или злой эта черта ни казалась. Не только мои вкусы и предпочтения, но и сама мораль на этом этапе должны быть отодвинуты — иначе ничего не понять. И если нет у меня глубинной любви к этому человеку, превосмогающей все его возможное зло и безвкусицу, ничего этого не получится, мне не удастся слияние с ним, мне не понять его. У меня не будет ни достаточной мотивации к тому, ни достаточной восприимчивости. А значит, все мои суждения о нем будут в лучшем случае топорны, а то и попросту ложны; все мои действия по его адресу будут нести на себе печать моего безразличия или отвращения и, если он рядом, будут вызывать такую же ответную реакцию.

А надо ли так уж стараться понимать всех подряд? — спросит иной читатель. — Да вокруг меня есть такие, на кого глаза бы не глядели; чего это я буду стараться их понимать? Я не проповедник, и одно только скажу о такой незавидной ситуации: да, это трудно, но основные формулы морали — золотое и серебряное правила, категорический императив, подразумевают усилие к субъективному пониманию не как особое благодеяние, но как безусловный долг в отношении кого угодно, даже не слишком блестящих умом и добродетелью коллег и соседей.

Субъективное понимание другого радикально отлично от его объяснения как объекта приложения физических, биологических, психологических или социальных сил. Понимание человека, редуцированное до объективированного объяснения, есть даже не унижение, но уничтожение его. Оговорюсь: когда подобная объективация прилагается к моделированию поведения тех или иных групп, она не обязательно посягает на личность, а потому может быть морально нейтральной, как прием научного анализа социальных явлений. Но когда объективации придается статус основного понимания человека, когда о его субъектности не заботятся, вот тут закладывается самый глубокий аморализм из всех возможных: приравнение человека к бездушной сущности. Такая парадигма мышления, явно или неявно, осознанно или нет отрицающая самую основу морали, уже содержит в себе возможность оправдания и поощрения каких угодно злодеяний — что и было продемонстрировано опытом приложения известного учения, сводящего человека к его *объективной классовой сущности, к совокупности общественных отношений*.

«Мне не нравится демонизация Гитлера. Надо видеть в нем человека, в том числе с добрыми качествами, а не только злодея», — сказал мне девяностолетний еврей Джек Стейнбергер, нобелевский лауреат. Джеку было 13 лет, когда в 1934 году он и его старший брат бежали из становившейся все более страшной Германии, добрались до Атлантики и приплыли в Америку. Злодеяния нацизма для Джека не есть отвлеченное понятие. А зачем вообще так уж стараться увидеть персону Гитлера? — спросит иной читатель. Нацизм как явление неплохо изучен, и проникновение в душевные нюансы одного из самых крайних негодяев вряд ли что-то может добавить к уже понятому. Думаю, впрочем, что демонизация Гитлера была отвратна для Джека сама по себе. Дело в том, что демонизация аморальна, она лишает обязательности самую основу морали: фундаментальное равенство людей. Если она принята за норму в отношении хотя бы одного человека, зовись он даже Гитлером или Сталиным, она тем самым допустима в отношении кого угодно, ибо вирус демонизации уже с нами. Мы уже готовы увидеть символ, образ зла в любом человеке или группе людей, с которыми мы разошлись по каким-то вопросам, или нам они чем-то не понравились — тем более что это так просто, так естественно избавляет от усилий к пониманию этих людей и так приветствуется и возбуждается политиками. Люди, с которыми мы оказались по разные стороны, легко могут редуцироваться до объектов нашей ненависти или отвращения, разом освобождающих от всех трудных вопросов и всех моральных заповедей.

«В 1970 г., вдумываясь, почему Достоевский мало кого убедил своими "Бесами", я сформулировал догмат полемики: "Дьявол начинается с пены на губах ангела. Всё рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и потому зло на земле не имеет конца". В полемике 70-х годов я упорно, в мучительной борьбе с собой, смахивал с губ эту пену и сформулировал второй догмат: «Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию», — писал Григорий Соломонович Померанц, вспоминая свою полемику с Александром Исаевичем Солженицыным.

Что же касается проблемы понимания исторических злодеяний, то демонизация их основных фигур вообще несовместима с этой задачей.

В 1963 году в Нью-Йорке была издана книга одного из интереснейших мыслителей

прошлого века Ханна Арендт «Эйхман в Иерусалиме: о банальности зла». В основу книги легли очерки, написанные ею во время иерусалимского процесса 1961—1962 годов над Адольфом Эйхманом — бывшим заведомым гестапо, отвечавшим за окончательное решение еврейского вопроса. Доминирующее воззрение на Эйхмана было ко времени процесса прочно демонизировано. В еврейской среде он вообще не рассматривался иначе как фанатичный антисемит, крайний ненавистник евреев, практически исчадие ада. А вот Ханна Арендт, пережившая Холокост немецкая еврейка, увидела в фигуре Эйхмана нечто иное: банального карьериста, старательного исполнителя воли начальства, бездумного массового человека во всем его жалком, комичном и страшном ничтожестве. *Банальность зла* — термин этот прочно вошел в политическую философию и этику. В своем интервью 1963 года немецкому журналисту Фесту (Fest), Ханна Арендт специально подчеркнула коренную характеристику этой банальности: «There's nothing deep about it — nothing demonic! There's simply the reluctance ever to imagine what the other person is experiencing. Eichmann was perfectly intelligent, but in this respect he was stupid. It was this stupidity that was so outrageous». — «Там не было ничего особенно глубокого, ничего демонического! Было просто нежелание хоть раз представить себе переживание другого человека. Эйхман был вполне рассудителен, но в этом отношении он был туп, и эта тупость была шокирующей».

Неудивительно, что свободный от демонизации взгляд на отъявленного злодея вызвал ожесточенную критику со стороны тех, кто так смотреть не мог и не хотел. Спустя полвека после публикации книга Ханна Арендт по-прежнему находится в центре внимания; многочисленные и непрекращающиеся выступления критиков лишь подчеркивают ее непреходящее значение. И хотя непробиваемый нравственный идиотизм Эйхмана совсем не то же самое, что эмоциональное ослепление демонизации, в главном они совпадают: в обоих случаях имеет место полное нежелание, неспособность понимать другого.

Путей познания много, и движущие силы его разнообразны. Но там, где познание есть не средство, но самостоятельная ценность, там можно с несомненностью сказать, что оно движимо любовью к своему предмету. Действительно, зачем бы я тратил дорогое время, если предмет этот мне безразличен? Разве можно любить некий предмет без перенесения этой любви на то, что породило его красоту? Любить стихи Пушкина и не любить его самого? Восхищаться красотой теоретической физики и не переносить это восхищение на ее авторов? Вспомним Иова, пошатнувшееся доверие которого Творцу восстановилось созерцанием бесконечной красоты творения. И наоборот: если допустить, что Вселенная создана не слишком добрым и не слишком умелым демоном, как полагали гностики, разве можно видеть в познании мира самостоятельную ценность? Разве что по крайнему недомыслию такое возможно. Таким образом, любовь к Истоку и Началу всего, к Богу, есть, с одной стороны, условие ценности познания мира, а с другой, есть не что иное, как побуждение к пониманию Творца, смотрению на мир Его глазами — при всей несоизмеримости с Ним и неисповедимости путей Его.

Вы, Геннадий Мартович, спрашиваете: кто смотрит из наших глаз?

Тот, кто не только смотрит моими глазами, но и знает, что смотрит, есть, несомненно, я, — отвечает Декарт, искавший самого достоверного. Библия же говорит не о том, *кто*, но *как должно*: самое главное — стремиться смотреть с Богом, и все остальное приложится нам. Но разве не о том же пишет и Ортега, парадоксально определивший, мы помним, высший тип человека через неустанное превосхождение самого себя: если не любовь к Богу, не стремление к Нему, то что же еще может быть истоком того зова к неведомому *Я*, что всегда лучше, чем я? Куда, на какую высокую звезду смотрит этот компас совершенства, и откуда черпает энергию этот вечный двигатель вдохновения?

Евгения Доброва

«Слова идут навстречу темноте...»

Альманах молодой поэзии «Terra poetica»

«Terra poetica», сборник лирических стихотворений молодых поэтов России, Белоруссии и Украины, подготовлен Международным гуманитарным проектом «Минская инициатива» при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Украинского фонда культуры. Вышел в Киеве в издательстве «Саммит-книга» немаленьким для поэтического издания тиражом 1500 экземпляров.

В альманахе собраны тексты двадцати пяти авторов: одиннадцати украинцев, семи белорусов и семи россиян. Стихотворения публикуются только в оригинале — на другие языки не переведены. Соответственно, целевая аудитория «Terra poetica» — знающие русский украинцы и белорусы плюс россияне-билингвы, а также филологи-слависты.

Несмотря на концепцию молодежного сборника, перед нами разновозрастный отряд. Самые молодые — 1992 года рождения, самый старший — 1971-го; и чем старше авторы, тем крепче стихи.

Украину представляют Мирослав Лаюк, Людмила Дядченко, Игорь Астапенко, Сергей Савин, Вано Крюгер, Наталия Бельченко, Андрей Тужиков, Олена Карпенко, Наталья Пасичнык, Микола Антошак, Леся Мудрак; Белоруссию — Влад Лянкевич, Андрей Апанович, Михась Башура, Дмитрий Захаревич, Екатерина Макаревич, Екатерина Водоносова, Нина Листота; Россию — Инга Кузнецова, Наталья Полякова, Яна-Мария Курмангалина, Дмитрий Тонконогов, Андрей Коровин, Владимир Козлов, Мария Маркова. «Если бы не языковой маркер, определить, кто из них украинец, кто — русский, кто — белорус, было бы проблематично», — пишет в предисловии поэт, председатель украинского Фонда культуры Борис Олийнык, и с этим трудно не согласиться.

«О чем думает и пишет молодое поколение? — размышляет Олийнык. — ...О жизни вне смысла, в ее естественном течении. Без рационального осмысления, но с восприятием на уровне эмоций и спонтанных впечатлений. Впечатлений для впечатлений».

Безусловно, речь здесь идет о таком поэтическом явлении в поэзии (уже можно сказать — приеме), как фиксация момента. Встретить его можно и у украинцев, и у белорусов, и у россиян.

глянь
 глянь яка красива наша богородиця
 у неї така біла шкіра
 у неї пурпуровий мак у волоссі
 у неї пурпуровий мак між грудей
 яка ж вона красива — наша богородиця
 яка ж вона гарна

стоїть біля футбольного майданчика
 і м'яч зачочується їй до ніг
 а вона не нахилиється щоб забрати його
 і занести в кабінет завуча
 вона не дорікає: поб'єте собі діти лікті
 штани нові порвете
 і взагалі — вам треба йти робити
 домашнє завдання
 вчити формулу площі та радіуса сфери

ні
 вона така красива
 у неї пурпуровий мак між грудей
 вона не робить усієї цієї гидоти
 вона просто дає пас
 чорною маленькою тувелькою

смотри
 смотри какая красивая наша богородица
 у неё такая белая кожа
 у неё пурпурный мак в волосах
 у неё пурпурный мак между грудей
 какая же она красивая — наша богородица
 какая же она красивая

стоит у футбольной площадки
 и мяч закатывается к её ногам
 а она не наклоняется чтобы забрать его
 и отнести в кабинет завуча
 она не упрекает: обдерёте себе дети локти
 брюки новые порвёте
 и вообще — пора идти делать уроки
 учить формулу площади и радиуса сферы

нет
 она такая красивая
 у неё пурпурный мак между грудей
 она не делает всех этих гадостей
 она просто отдаёт пас
 черной маленькой тувелькой

(Мирослав Лаюк.
 Изобретение письменности: огненно-золотой)

Вот еще один запечатленный кадр — начало стихотворения Влада Лянкевича:

незнарок стаўшы мне на нагу дзяўчына
 якая прыносила каву просіць мяне ўзаемна
 ёй наступіць — наступаю. усіх рассмяшылі

нечаянно наступив мне на ногу девушка
 которая подносила кофе просит меня в ответ
 ей наступить — наступаю. всех рассмешили

А вот пример из Яны-Марии Курмангалиной:

небо всё глубже деревья всё выше
 жизнь всё размереннее и тише
 только собака во сне

лает от счастья сомкнуты веки
 грезя о вечном своём человеке
 том что ломая ледок

в утреннем парке поправит бейсболку
 да наклонится — погладить по холке
 и отцепить поводок

«Что обеспечивает молодым авторам из разных стран национальное лицо?» — ставит вопрос Олийнык, но не отвечает на него. Ответить можно лишь отчасти: в современной русской поэзии больше описательности, есть тяга к плотным текстам, это поэзия существительных, поэзия большого словарного запаса; кроме того, у русских авторов соотношение силлабо-тоники и верлибра свидетельствует о меньшей популярности последнего.

Общее для современной поэзии всех трех стран — многословие. Четырех строк для поэтического высказывания уже не хватает. Тексты простынного типа — на полторы-две страницы формата А4 — встречаются у Михася Башуры, Инги Кузнецо-

вой, Влада Лянкевича, Владимира Козлова, Дмитрия Тонконогова, Андрея Коровина, Ваню Крюгера. Коротких текстов, напротив, в антологии почти нет.

Еще одна общая особенность — частое игнорирование знаков препинания.

Если рассматривать «Terra poetica» не только как факт народной дипломатии, но и как факт художественной литературы, нужно отметить, что тексты сильно отличаются техникой стихосложения — от виртуозно-затейливых до совсем примитивных: видимо, молодые авторы пока еще не научились отмечать сомнительные рифмы вроде «кровь — вновь», «теориях — траектории», «диктофон — микрофон», «звук — руки» и не слишком оригинальные образы вроде *кровавого дождя* или *крови, становящейся глинтвейном*.

Таким образом, у кого-то из-под пера выходит «поэтическая белиберда» (определение подслушано у российского издателя Вадима Месяца), у кого-то — так называемая настоящая поэзия (сакральный смысл плюс красота подачи). Вообще, надо сказать, в сборнике больше незамысловатых стихов, чем замысловатых — последние только у Дмитрия Тонконогова (Москва) и отчасти у Владимира Козлова (Ростов-на-Дону) и Игоря Астапенко (Киев).

В альманахе можно услышать и мажор, и минор, но доминирует, конечно, характерная для лирической поэзии минорная интонация: «и равны печалью светлой в дождевом своем родстве / все бессонные в москве и неспящие в сизтле» (Яна-Мария Курмангалина).

Затронутые темы тоже традиционны для поэзии такого рода.

О любовных переживаниях пишут киевлянки Олена Карпенко («смотри, рубашка моя наизнанку, / сердце — тоже») и Людмила Дядченко («разлука лютует и засыпает всё больше / по горло. по уши. по всё»), Микола Антошак из Винницы («был богом / твоих волос / твоей косы / и её запах / лишил меня невесомости / держал меня у земли»); москвичка Инга Кузнецова («любовь ты соковыжималка»), минчане Нина Листота и Дмитрий Захаревич и многие другие авторы.

Точные слова об одиночестве нашел Ваню Крюгер из Киева:

знаєш, люди — наче листя на дереві:
ніби і близько один від одного,
проте припаяні намертво черенками
до гілля,
може і зможуть доторкнутися випадково
один до одного,
проте будуть розлучені за примхою вітру:
зустрінуться лиш на землі,
відірвавшись від гілля,
за мить до гниття.

знаешь, люди — как листья на дереве:
вроде и близко друг от друга,
но намертво припаяны черенками
к ветке,
может, и прикоснутся случайно
друг к другу,
но будут разлучены прихотью ветра:
встретятся лишь на земле,
оторвавшись от ветки,
за миг до гниения.

О женщинах — Андрей Коровин (Москва):

самое главное в женщине
это история её души
не глаза или попа
не губы и грудь
а сколько тысяч ли
прошагала её душа
для встречи с тобой

О жизни и о мире размышляют Игорь Астапенко из Киева («Наша жизнь словно кубок, только немного надтреснутый»), москвички Яна-Мария Курмангалина («в середине тёмного ненастья где идёшь наощупь как фантом / в жизнь влюбляясь

заново и насмерть но ещё не ведая о том») и Инга Кузнецова («мир понятно опасен / и так невместимо прекрасен / он машинно-ужасен / пахуч и колбасен»).

Еще один частый мотив — тема осени. «Холодный ожог поцелуя / и страшная близость к воде / скрываются в долгом дожде», — пишет Мария Маркова из Вологды; «над аллеями дым горьковатый и едкий / за деревьями в небе плывут этажи / обескровленный лист отмирает от ветки / но с последнею силой / цепляясь дрожит», — Яна-Мария Курмангулина; а золотая осень киевлянки Людмилы Дядченко похожа на «залежавшуюся в консервной банке шпроту».

Поэтов часто зовут дальние края: «без блата и очередей возьмем билеты / туда где на родном никто ни слова» (Наталья Пасичнык, Тернополь) — и в дороге у человека, как водится, «на душе — непокой, ожидание, / в его сердце — надежда и вера» (Михась Башура, Минск).

Тема алкоголя встречается только у минчанина Андрея Апановича, и то в игровом ключе — в стихотворениях «В чащобе» (сюжет: пьяница заблудился и орет благим матом в лесной чаще) и «Stenkenstolz» (сюжет: с утра у героя похмелье, но как же разлюбить спиртное? — и как же, однако, хорошо выпить!)

О старших в роду трогательно вспоминают Наталья Полякова из Москвы:

На балконе у дедушки мастерская. Заточка ножей и ножниц.
Так военного лётчика жизнь приучала — пересевшего на запорожец.
Так жили, так водку пили, так в горле першили крепкие папиросы.
И меня под мальчика стригли — всё лучше, чем жидкие косы.

А я и рада, и, чёлку смахнув со лба, тугие крутила педали
И дедушку обгоняла. И открывались с моста иные, озёрные дали.
Я слышала сзади весёлый звонок — он следовал всюду за мною.
Пока не замолк. Пока не замолк. Пока не замолк за спиною.

И киевлянин Мирослав Лаюк:

він виганяв бур'ян і горобців з городу так
наче торгашів з храму
він ішов до картоплі кукурудзи
редиски кропу з такою усмішкою
мов до церкви
а баба ганя завжди жалілася
що він нікого так не любить
як грушку ним колись посаджену
посеред саду
між горіхом і ранетою
і та грушка давала найкращі груші

він вчив мене сороміцьких коломийок
і посилав співати їх бабі
за що видавав сирного коника
він будив мене уночі
подивитися на їжака
який шарудів біля криниці
або на сову
яка пугикала на вершку черешні
чи лисицю
яка не помічаючи нас паслася у саду

діду коли ми зустрінемося
я вам за сирного коника
заспіваю ще багато сороміцьких коломийок

а груша ваша всохла
зразу після вас

он выгонял бурьян и воробьев с огорода
как торгашей из храма
он шёл к картошке кукурузе
редиске укропу с такой улыбкой
словно в церковь
а баба ганя всегда жаловалась
что он никого так не любит
как грушку когда-то посаженную
посреди сада
между орехом и ранетками
и эта грушка давала лучшие груши

он учил меня похабным частушкам
посылал петь их бабушке
и давал за это сырную лошадку
он будил меня ночью
посмотреть на ежа
который шуршал у колодца
или на сову
которая ухала на вершине черешни
или лису
которая не замечая нас охотилась в саду

дед если мы встретимся
я вам за сырную лошадку
спою ещё много похабных частушек

а груша ваша засохла
сразу после вас

И, конечно, как поэту не писать об отношении к слову? О рождении поэтической речи говорят Наталья Полякова («слова идут навстречу немоте, / переходя на шаг, на шум, на шорох») и Инга Кузнецова («безыменье подобно колесу / мелькают в спицах лошадь и солома»). А вот настоящий поэтический обет:

Я не гуляю словами.
Яны для мяне — святыя.
Ї кожны мой верш — бажніца,
Светлы і канастас.
Словы стаяць іконамі,
Дзіўнымі, залатымі:
Я толькі магу маліцца,
Каб веры агонь не згас.

Я не гуляю словами.
Дзеля адной забавы
Стужкаю алітэрацый
Крылаў ім не звяжу.

Я не играю словами.
Они для меня — святые.
И каждый мой стих — божница,
Светлый иконостас.
Слова стоят, как иконы,
Странные, золотые:
Я только могу молиться,
Чтоб веры огонь не погас.

Я не играю словами.
Ради одной забавы
Ленточкой аллитераций
Крыльев им не свяжу.

— обещает Екатерина Водоносова из Минска. А Дмитрий Тонконогов молит об обратном:

Вот только заткнулся бы, чёрт побери,
голос внутри.

Горшочек, вари — горшочек, не вари.

Темы смерти касаются Яна-Мария Курмангалина («когда умирают красивые люди / видеть их угасанье / страшнее всего»), Инга Кузнецова («я грызу стылый лист / превращаясь в прожилку и терпкую горечь / я готова короткую жизнь / провести на холодном ветру / в этом кротком осеннем / межлиственном разговоре / прошептать / «не печальтесь я скоро умру»), и целых три поэта свели эту тему к словам о самоубийстве.

Сначала — Мирослав Лаюк в стихотворении «Красивые деревья»:

коли померла віслава шимборська
мій сусід через паркан
почав виходити в сад і казати:
дерева дерева які ви всі гарні — такі гарні
що неможливо вибрати на котрім із вас вішатися

когда умерла вислава шимборская
мой сосед через забор
начал выходить в сад и говорить:
деревья, деревья, какие вы все красивые —
невозможно выбрать на каком повеситься

Затем похожий образ видим в «Сорока думах» Игоря Астапенко:

коли ти до мене прийдеш ніч уже буде повсюди
коли ти до мене прийдеш я буду висіти на дереві

когда ты придёшь ко мне ночь будет уже повсюду
когда ты придёшь ко мне я буду висеть на дереве

И, наконец, у Андрея Коровина: «...почему все поэты / кончают жизнь самоубийством да от ужаса бессмертия своего от страха вечности».

А последнее желание может быть таким:

«пакажыце нарэшце, раз я тут акурат
дзе гэты ваш зікурат вышыні, якой не існуе
дзе гэта сіняя брама колеру, якога няма
пакажыце чалавеку з краіны
вечнага вяртаня назад
у якой абпалены сад ніяк не спілююць
у якой ніяк не даспяляць спілованы сад»

«покажите же мне, раз я здесь аккурат
где этот ваш зиккурат высоты небывалой
где врата эти синие цвета, которого нет
покажите человеку из края
вечных возвратов назад
где сожжённый сад никак не спилят
не дожгут никак спиленный сад»

(Влад Лянкевич, Минск)

Вообще, надо сказать, антология на редкость оптимистичная: про жизнь в ней написано гораздо больше, чем про смерть: на двадцать одну тысячу слов «смерть» упоминается всего девятнадцать раз.

«...Я вот тебе мир весь как на ладони весь он открыт для тебя / столько тебе городов построили и лесов посадили столько родили для тебя женщин / столько зрения дал тебе бог что ж ты жалуешься зараза тать твою так / люби эту жизнь пей эту чашу», — призывает Андрей Коровин в стихотворении «Мазурка».

А кто-то не хочет писать о трагическом или вообще о серьезном. Тому пример — блестящее паясничание Дмитрия Тонконогова:

Шуршит звуковая дорожка.
В Казани повесилась кошка.
А здесь под крылом проплывает мечеть,
такая большая, что хочется петь.
Похожая на крематорий,
сказал бы священник Григорий.
Ему лишь дай волю и правильный сан,
он всю Касабланку бы выправил сам.
Звучал бы в трубе её главной
воинственный хор православный.

У кого-то, как у минчанина Михася Башуры, из-под пера рождаются стихи, напоминающие песенку-шлягер:

Шумяць намоклыя лісты
На дрэвах сонных,
Прыпаў вясенні дождж густы
Да шыв ваконных.

Ад сонца дзённага астыў
Асфальт гарачы.
Я за сабой спаліў масты
Ўсе без астачы.

Гараць няшчырасці лісты
Ў агні пякучым,
Ды застанешся ў сэрцы ты
Тугой балючай.

Шумят намокшею листвою
Деревья сонные,
Припал весенний дождь густой
К стеклу оконному.

От солнца яркого остынь,
Асфальта лава.
Я за собой поджёг мосты
Пускай пылают.

Горят слова, горят листы
В огне трескучем,
Но остаёшься в сердце ты
Тоской колючей.

Сравним со строками другого минчанина, Андрея Апановича:

Шляхоў назад няма —
Гараць масты.
Мне не цікава, што падумаш
Аб гэтым ты.

Назад дороги нет —
Горят мосты.
И не волнует, что подумаешь
об этом ты.

У Владимира Козлова из Ростова-на-Дону подборка составлена интересно — по нарастанию поэтической силы: от меньшего к большему. От нарочито беспомощного до крепкого, как египетская пирамида.

В первом стихотворении видим следующие ужасы версификации (или, если угодно, назовем это модным определением «деконструкция текста»):

Отпуск, милый, проведём во сне.
Главное, рассказывай их мне.
Целый год ты их совсем не видел,
глаз не смыкал — мой муж, мой лидер.

Во втором стихотворении «Человек ниоткуда» с эпиграфом из Алексея Цветкова: «странник у стрелки ручья опершись на посох...» — есть уже совсем другие строки:

Странник, задумчив, стоит у стрелки ручья.
Всё на нём — чьё-то, только вода — ничья.

Но дальше вкус автору изменил:

Внутренний ад озирает тропу перед ним.
Оказалось, ручей с водой мёртвою — непроходим.

Но что интересно. В стихах Козлова есть энергия, чувствуются большая жизненная сила и желание повествовать. Даже если не знать обо всех регалиях автора, сразу становится ясно: он себя еще покажет. И происходит это уже на следующих страницах, в стихотворениях «Вести глубокого тыла» и «Внутри любви» (тут хотя бы привести меткое: «тесно в её любви, / не знаешь, как повернуться, / чтобы не поломать там всё»).

Сергей Савин из Киева любит термины из разных областей человеческих знаний. Его стихи — коктейль из ассимиляции, реабилитации, палимпсеста, анабиоза, нейронов, дубликатов, рефренов, аритмии, аорты, диафрагмы, эндокарда, импульсов, прострации, капилляров, кодов доступа, теории, траектории, квантовой локации и имитации. Наверняка у Савина получилось бы сделать переложение словаря иностранных слов в стихах. Из-за доступных рифм вроде «диктофон — микрофон» или «локации — имитации» он пользовался бы большой популярностью.

Минчанин Влад Лянкевич шлет анархические призывы копать от забора и до обеда, вернее, «насыпать горы».

насыпаць горы насыпаць
адну за адной — няхай гэта будзе народны рух і ніхто не кіруе ім
і не звярае з планам

насыпать горы насыпать
одну за другой — пусть это будет народное движение и им никто не руководит
и не сверяет с планом

Еще одна современная трактовка философии свободы:

Ў кішэнях ноль. Ну і халера з тым!	В карманах ноль. И чёрт бы с ним!
Знайду дзе ежы сабе знайсці.	Найду, где прокормиться можно.
Ў карчме, што пры дарозе, будзе сёння пір.	В корчме, что у дороги, сегодня будет пир.
А п'яных не складана абакрасці.	А пьяных обокрасть несложно.
(...)	(...)
З сябрамі піць, на сене дзеўку прытуліць	С друзьями пить, на сене девку обнимать
Я больш люблю, чым працаваць за плугам.	люблю я больше, чем стоять за плугом.
Куды хачу туды пайду.	Куда хочу туда пойду.
(...)	(...)
Ніколі не прадам сваёй свабоды.	Вовеки не продам своей свободы.
(...)	(...)
Ўсім сэрцам шчыры і таемных не заводжу спраў.	Всем сердцем я открыт, дел тайных не веду.
Якія справы могуць быць, калі ў кішэнях ноль?	Какие могут быть дела, когда в карманах ноль?

Вот такая песенка веселого крестьянина (а может быть, неуловимого Джо) авторства Андрея Апановича.

И, да, как не вспомнить про великих поэтов предшествующих поколений? От Мирослава Лаюка полетел привет Виславе Шимборской, от Тонконогова — Рейну с Ахматовой («Хочу быть Ахматовой, и чтобы Рейн был у меня на посылках), а от Коровина — Цветаевой:

Марина Цветаева
 съедала своих любовников
 высасывала из них нектар
 обглаживала ручки и ножки
 особенно любила мозговую часть

Как конфетка на коньяк, подборку завершают шаманские камлания киевлянки Леси Мудрак, представившей на суд читателей стихи с элементами звуковой поэзии:

Зачекай!	Подожди!
Не йди!	Не иди!
Не йди!	Не иди!
Там — зависоко!	Там — слишком высоко!
за-Ви-соко!	сли-шком-Вы-соко!
завис-око	слиш-ком!
Зависоко тааааааммм!	Слишком высоко тааааааммм!

В этом сборнике было и «низко», и «высоко». Спасибо составителям за то, что показали столько интересных стихов. «Мы все такие разные, и все-таки мы вместе» — это и есть главное.